

Н. В. Котрелев

Черты к образу Николая Алексеевича Богомолова

Я познакомился с Николаем Алексеевичем на Блоковской конференции в Тарту (года, увы, не помню, во всяком случае, не ранее конца 1970-х).

К тому времени вокруг «Тарту» сложилась группа молодых филологов, занятых проблемами русской литературы начала XX века. Собственно тартуских студентов (вначале, на рубеже 60—70-х годов) в ней было немного, были — рижане, ленинградцы, москвичи. Группа быстро слилась в дружеский кружок, со всеми характеристиками именно дружеской, часто — задушевной компании. В то же содружество входили и молодые ученые с иными профессиональными интересами, скажем, — В. Живов, Г. Левинтон, А. Осповат и еще несколько человек. Но в ядре группы были те, кто занимался символизмом, акмеизмом, Клюевым, Пастернаком — К. Азадовский, С. Гречишкин, А. Лавров, Р. Тименчик, Л. Флейшман. И конечно же — Г. Суперфин, для меня важный особо, он не только ввел меня в «Тарту», но и еще в самые первые из 60-х увлек в архивные разыскания.

Много писалось о московско-тартуской семиотической школе, плоды ее творчества были быстро, почти мгновенно замечены и оценены и в отечестве, и за рубежом. О сказанной группе исследователей модернистских течений — именно как особой группе, с собственной ролью в эволюции филологического знания, кажется, не писали, впрочем, и сколько-нибудь прописанной картины этой области литературоведения нет. При глубочайшем уважении к Ю.М. Лотману группа спланировалась вокруг незабвенной Зары Григорьевны Минц. Событиями и платформами роста в дружеской и профессиональной жизни были тартуские студенческие конференции, на которых союз зародился и складывался, и блоковские конференции, начиная со второй, к году эпохальной первой все мы были еще слишком молоды и друг про друга не слыхали. Теоретического оформления, специальной программы у этой группы не было. Было общее кредо, не декларируемые одиночество и единомыслие. Волей и неволей молодые ученые переворачивали фундаментальные принципы и установки советской текстологической и эдичионной практики (впрочем, во многом следовавшей тому, что выработал дореволюционный ученый обиход).

Во-первых, текстология. Помню рассказ Н.А. Роскиной о приговоре, вынесенном С.А. Макашиным, когда она принесла в издательство полную расшифровку рукописи труднейших для прочтения дневников А.С. Суворина. Макашин сказал, что полный текст издан не может быть и не будет. Роскина настаивала на своем, взывала к тому, что основной принцип текстологии — публикация текста как некоторой завершенности, полноты, тем более когда речь идет о тексте столь информативном. Сергей Александрович, закрывая спор, властно выдвинул другой принцип: одно дело — текстология Пушкина и Льва Толстого, и совсем другое — Суворина. Для молодых филологов, о которых речь, критерии полноты текста и качества его представления в издании подчинялись только внутренним принципам филологической дисциплины,

не зависящим от «имени», установленного статуса автора текста. В плане так или иначе сформулированной эдиционной задачи тексты Пушкина и Ленина оказывались равноценными любым другим текстам, пусть самым незначительным либо вредным с точки зрения их общественной репутации.

Принятие единой методологической установки для сакральных текстов (с коих текстология и началась), текстов классиков и сколь угодно профанных и низкопробных текстов, разумеется, не означало нигилистического упразднения иерархического строения литературных, культурных ценностей. Другое дело, что «ценностей... скалы» во многом расходились с критериями официозного наполнения пантеона. Политическое осмысление этих расхождений зависело по преимуществу от взгляда со стороны, из полномочных органов и их редакций, издательских советов и т.п. материальных исполнительных учреждений. Ахматову или Пастернаку, Андрею Белого или Вяч. Иванова «тартуская» молодежь выбирала не потому, что их «не печатают», поносят — выбор был экзистенциальный, не политический.

Другой пункт профессионального кредо, принятого молодыми, определял их подход к комментированию. Где-то в те годы, кажется, был распространен руководящий документ, обязывавший издательства отводить на аппарат, сопроводительные статьи и примечания не более 15% объема выпускаемой книги. Для сказанных «тартуских» молодых пространство комментария задавалось не издательскими нормами экономии дефицитной бумаги, а необходимостью скрупулезного восстановления литературно-исторического, идейного, духовного, наконец, жизненного и бытового контекста, в котором автор создавал публикуемый текст или слагалось некоторое литературное событие, предприятие. Комментарий рос сам по себе, сводил в единое повествование известные и еще неизвестные чаще всего лица и факты, линии истории. Эти линии непременно разбегались, как земляничные усы, завязывали новые проблемные точки, привлекали новые лица, органы печати, кружки и объединения и т.п. Публикуемый текст должен был читаться в двух оптиках — времени предлежащей публикации и, прежде всего, — из толщи времени своего рождения. Для распорядительных инстанций вред таких публикаций проистекал не от объема комментариев в печатных знаках, опасно и недопустимо было восстановление в истории и внедрение в актуальность сего дня огромного количества мелкотравчатых лиц и пренебрежимых, по «незначительности», событий, «справедливо забытых». Тем неприемлемее было появление в примечаниях лиц, тем и событий, отравленных коммунистической пропагандой на «свалку истории»¹.

Несколько затянувшееся (и сугубо личное) воспоминание о той поре жизни моих друзей моему рассказу о Н.А. Богомолове необходимо. Дело в том, что в кружке заметили сразу, что никому не известный, значит, чужой человек настойчиво ищет сближения, хочет большего, нежели формальное коллегии-

1 Я не имею права приписать описываемому неформальному кружку исключительную роль в обновлении издательского репертуара — следует назвать хотя бы возвращение Достоевского, всему предшествовавшее, затем возвращение Есенина и Бунина, имлийское воскрешение Бахтина и многое другое. Нельзя обойти воспоминанием издания, давшие молодым инициаторам самую возможность утверждения в литературе — прежде всего «Ученые записки Тартуского государственного университета» и «Литературное наследство». Но установление новых критериев текстологической и эдиционной работы остается приоритетом молодых «тартусцев».

альное знакомство. По мимолетным сведениям, и за границей работавший, и о «Великом Октябре» пишущий... Это озадачивало, вызывало недоверие. И при разъезде по домам один из друзей даже вслух сформулировал, мол, «к молодому человеку нужно относиться осторожно!» Но через год, а то и менее для всех он стал Колей Богомоловым, и для Ромы, и для Саши, и для всех остальных, в содружестве и вокруг него (по имени-отчеству звали друг друга только мы с ним, несмотря на сотрудничество, по этикету, которого я старался и стараюсь придерживаться). Настойчивость и обаяние, личное и профессиональное, победили, Коля Богомолов стал полноправным, признанным членом дружеского кружка, в высшей степени достойно, на равных воплощая в замечательных работах первоначальные академические интуиции и установки всей группы. Я хочу, однако, подчеркнуть, что в начале дружбы и сотрудничества был именно волевой жест самоопределения, сознательный выбор, тогда как остальных сплотило естественное течение времени.

И еще эпизод. Я с 1990 года заведовал в ИМЛИ редакцией «Литературного наследства», по должности был — завотделом. Участвовал в заседаниях Дирекции. С тогдашним директором института Ф.Ф. Кузнецовым отношения у меня были ровные, более или менее лично безразличные. И вдруг по окончании одного заседания (в 2000 году) он просит меня задержаться. Все разошлись, мы вдвоем, и следует совершенно неожиданный вопрос: «Николай Всеволодович, вы ведь в близких отношениях с Александром Васильевичем Лавровым?» — «Да», — отвечаю, мгновенно напрягшись. — «А что вы скажете, если мы энергично двинем его в полные академики и проведем в академики-секретари нашего отделения?» Дело в том, что приближались очередная сессия и выборы в Академии наук; «мы» однозначно имело в виду многочисленную и влиятельную партию членкоров и полных членов, которой Феликс Феодосиевич негласно руководил, во всяком случае, на кого он мог положиться при голосованиях и принятии решений; эта партия противостояла не столь сильной числом «либеральной» партии лучших филологов того времени. Голова моя успокоилась, отвечать я решил по существу вопроса. Поскольку Лаврова я ближайшим образом знал уже лет тридцать, я ответил всерьез: «Александр Васильевич — виднейший, яркий, тонкий и работоспособнейший ученый. Но у него в жизни не было никакого опыта организационной работы, даже просто конторской службы. И нет ни малейшего желания, впрочем, и способностей таковой опыт приобретать, должность академика-секретаря никак не может оказаться для него желанной, хотя бы приемлемой целью». Заинтересованное и внимательное выражение лица Кузнецова погасло, очевидно, вопрос был исчерпан. Но тут я выговорил вдруг явившуюся мысль: «А ведь есть замечательный кандидат в академики-секретари — Николай Алексеевич Богомолов. Как ученый он вполне вровень Лаврову, более того, круг его профессиональных интересов даже шире, чем у Лаврова, простирается до явлений массовой культуры — “бардов”. Он владеет иностранными языками, что для представителя академической верхушки крайне желательно, если не необходимо. И еще нужнейшее свойство — он способен поддерживать ровные коллегиальные отношения едва ли не со всеми группами гуманитарного цеха, редко сохраняющими взаимоуважение, — для организатора науки это качество драгоценно». Я говорил, несомненно, как глупец — всерьез подумав, что Кузнецов печется о настоящих задачах организации отделения. В ответ он почти промямлил, мол, интересно, мы Богомолова уже привлекаем

к работе в институте, надо подумать... И отпустил меня. Несомненно, Кузнецову нужен был более или менее управляемый секретарь, во всяком случае, толерантный к кузнецовской партии. Что вдруг заставило его обратить взгляд на А.В. Лаврова — догадаться не могу.

Н.А. Богомолова тогда же выставили-таки в кандидаты на выборы в Академию. И прокатили. В закулисных играх «либералы» уступили Кузнецову за одного своего — три места кузнецовским. Вскоре после событий замечательный, несравненный ученый из «либерального» пула сказал мне, что иначе он и его единомышленники поступить не могли, провести именно этого своего кандидата, Вяч. Вс. Иванова, было их моральным долгом... И все пошло так, как прошло.

Николай Алексеевич воспринял происшедшее как оскорбление для себя, сказал мне, что больше в Академию ни ногой. «Вообще, — добавил он, — главным моим желанием в жизни было стать профессором МГУ, как был им мой отец, и я стал им!»

Роман Тименчик

Талан

За прошедшие со дня его смерти месяцы не ослабевает чувство боли и обиды, потери и беды. Потеря невозможная, потому что на той территории, на которой книгочей, педагог, скрупулезный комментатор Николай Алексеевич Богомолов укрепился — на истории русской литературы эпохи модернизма, — он контролировал все высоты, он обжился в этой эпохе, знал все ее ходы и выходы, владел ключами к пониманию ее хитросплетений. Из трех необходимых качеств филолога — начитанность, усидчивость и третье, пожалуй, самое редкое и дорогое, — именно это третье было ему выдано — везенье, пруха, талант. Он много знал и умел, не пренебрегал черной филологической работой, не доверял белоручкам, но усердием и выполнением полевой работы в архивах и книгохранилищах обеих полушарий не кичился, остерегался того, что называл «архивным фетишизмом». И, в отличие от самоучек, самородков и забредших на приманчивый огонек бесталанных охотников до литературоведения, он умел само-ограничиваться, замирать в боевой позе перед порогом, за которым начинается без-остановочное, бес-контрольное и без-ответственное парение над текстом. Он мог бы повторить за своим героем Михаилом Кузминым: «Дважды два — четыре, два да три — пять, вот и все, что мы можем, что мы можем знать». А знал он на зависть много.

Он был по заслугам принят в душеприказчики Брюсова, Ходасевича, Вяч. Иванова, Гумилева, и так далее, и так далее. Он был адептом и забытых «малых сих», и иные из них, из малых этих, вышли на авансцену его самоотверженными усилиями. В этом отношении, да и в других, он в последние годы нашел себе alter ego среди ученых былых времен — Ивана Никаноровича Ро-